

НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

З

емля,
которая
ПОМНИТ
Все

©

НИКОЛАЙ КОНЯЕВ

Земля,
которая
ПОМНИТ
Все



РАССКАЗЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1982



Николай Коняев родился в 1949 году в поселке Вознесенье на Онежском озере. Работал сварщиком, электриком, грузчиком, художником-оформителем, корреспондентом газеты. Окончил Литературный институт. «Земля, которая помнит все» — первая книга его рассказов, затрагивающих широкий круг современных идейно-нравственных проблем.

336324



Художник НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВ

К 4702010200—4 40—82
083(02)—82

© Издательство
«Советский писатель», 1982 г.

ДЕРЕВО РАЯ

Назвать дерево именем — этот несомненный буддизм был близок и понятен нам...

Да и что было в детстве? Отец — тяжелое, низкое небо; мать — полоска земли, прижатая свинцовой тяжестью к воде; вода — я и мои сестры... Еще? Глухие, нехоженые леса, там пусто и холодно, и больше нет на земле пространства, только на ребячьем пригорке — дерево по имени Рая.

Но летом солнце согревало нас и нашу землю, и мы бродили по мелководью и ловили руками высунувшихся из воды рыб.

Что это? Мечтание или память? Рыбы смотрели на нас и не уплывали, а река, усеянная разноцветными лодками, пахла душновато и празднично, как коробка из-под конфет.

Тогда не нужно было ни вспоминать, ни думать... Замерзшие, мы вылезали на ребячий пригорок и играли там. На пригорке стоял дот, полузасыпанный битым кирпичом и землей. Но нам хватало и оставшегося места, и мы, не сгибаясь, входили внутрь и, припадая

За картины, написанные в окрестностях дачи ее величества великой княгини Марии Николаевны, Саврасову было присвоено звание академика живописи.

Осенью он навсегда уехал в Москву.

В ПЛАЩЕ УЧЕНИКА

В Ялте был белый домик, в комнатах картины, надписанные фотографии — вся та артистическая утварь, что принес с собою успех в театре. Но все это было потом, а сейчас — только этот дом на Кудринской, просто обставленные комнаты, в низкие окна которых заглядывали прохожие. Здесь был доктором, здесь написал первые книги, отсюда уехал на Сахалин.

Просто страшно стало жить. Слишком легок был успех, и казалось, уходит из-под ног земля. Его хвалили, дали премию, но хвалили странно. Лев Толстой писал: «Он берет фразы как попало, но все подробности у него или превосходны, или необходимы», а так, чтобы и превосходно и необходимо? Почему об этом не писал Толстой? Непонятно было отношение Толстого. Его фотографию Чехов до смерти носил с собой в бумажнике. Толстого любил, о Толстом думал и поэтому и в нем стал сомневаться...

От сомнений уезжали на Кавказ. Онегин, Печорин... Воевали с горцами, в крутых ущельях находили свою пулю. Чехов тоже герой своего времени, своего, — он уехал на Сахалин, перед отъездом запасся бланками переписи, рекомендательными письмами, договорился писать очерки для «Нового времени».

В дороге случился сюжет.

Вечером, на почтовой станции позвали к больному. Больной — ссыльный человек — умирал. Чахотка. Чехов посидел у его кровати.

В комнате было душно, пахло угаром, и Чехов снял пенсне, и лицо больного сразу растворилось в желтых подушках.

Хотел сказать что-нибудь утешительное, больной криво усмехнулся: «Не надо...»

Действительно, не надо... Сам не любил: потом, когда умирал, попросил шампанского — смерть тоже часть жизни, и нельзя, чтобы она была лживой.

Посмотрел в угол, где на лавке лежали шуба и шапка, но не встал, деликатно откашлялся.

— Что посоветовать? Сами вы человек умный, сами все знаете... Лекарства...

— Вон мое лекарство, — больной кивнул на табуретку. Там рядом со стаканом из толстого мутного стекла лежала книга.

Его, между прочим, книга... «Пестрые рассказы».

Чехов покраснел, взял в руки книжку. Зачем-то раскрыл ее. Покраснел еще сильнее и встал.

Уже отойдя от дома, оглянулся. Из хозяйских окон падал желтоватый свет, и сквозь недозадернутые занавески были видны люди, они сидели у самовара и пили чай. Чехов вздохнул: странный случился сюжет. Слишком близко сошлись и первая книга, и смерть от чахотки. Вздохнул и пошел по грязи на постоянный двор.

Потом сидел в огромной, с рыжим мохом между бревнами комнате, думал: зачем поехал?

Возились за печкой тараканы. Мысли были невеселыми, неясными...

Не знал.

В письмах писал, что остались рецензии, разговоры о литературе, сплетни, успехи и неуспехи... Писал, что надобно перемениться, писать не пять листов в месяц, а один лист в пять месяцев, все объяснял так убедительно, что всех убедил, проводили, помахали платочками, разошлись по своим жизням, вспоминать, ждать вестей...

Сам от себя уезжал...

Знал, что, как и докторство, эта поездка принесет еще больший холод профессионализации, но сам себе не признавался в этом.

Уезжал в Сибирь, в огромное это слово... На озерах еще лежал матовый лед, подмерзала к вечеру грязь на дорогах, и в тусклом небе голосили птицы. Неисчислимые их караваны летели на север. Гуси. Лебеди. Журавли.

Он и раньше удивлялся Сибири. Всегда слушал про нее рассказы, читал, настолько привык, что было странно, как это он все еще не побывал там.

С удивлением рассматривал людей, на переправах подолгу разговаривал с паромщиками. Люди были крепкие, не гнилые, но не его люди, не его...

Перед отъездом сидел в кабинете на Кудринской, рассматривал фотографию, подаренную Толстым.

Фотография была узкой, как окна, что смотрели бойницами по бокам двери с табличкой «Доктор Чехов». Фотография — тоже бойница. Толстой, засунув руки в карманы брюк, словно чуть-чуть наклонившись вперед, смотрел с нее...

Надо было ехать на Сахалин.

Чехов вздохнул и, обогнув массивное кресло, подошел к окну — кабинет фонариком своим выходил прямо на Кудринскую.

Ехали извозчики, с гудками пронесся автомобиль... Движения было мало, и улица, слишком широ-

кая, казалась пустынной, как в маленьком уездном городке, где любили жить его герои.

Она станет тесной и черной от одежд, когда шестерка лошадей в белых саванах... но это после, после германского отеля, после белого домика в Ялте, после успеха в театре, после Сахалина.

Надо было ехать.

Замкнулся круг. Уже три года писал все о тех же убогих обывателях уездных городков, критики писали о пессимизме, вспоминали о традициях великой русской литературы, — были правы, конечно, сам иногда так думал, хотелось написать сильного, красивого человека, садился за стол — совсем простой, с четырьмя ящичками, — писал снова о щемящей, беспомощной человечности.

В Сибири искал героев... Просил фотографа делать снимки. Тот снимал и реки, извивающиеся среди береговых круч, и Соньку — золотую ручку в кандалах; на Сахалине ходил по избам, заполнял бланки переписи, привез с собой целый чемодан бумаг, написал про Сахалин монографию, и словно кончилась в душе эта поездка, никогда больше ни в одном рассказе не вспоминал про нее...

Сюжет, что случился на сибирском тракте, не кончился тогда в станционной избе. Снова вспоминался. Часто думал о нем в Ялте, разглядывая близкое теплое море. Вспомнил последний раз в немецком отеле, вздохнул тяжело и попросил принести шампанского.

Был апрель, в музее на Кудринской окна были открыты, и теплый ветер пузырил занавески, и казалось, что в доме по-прежнему живут.

Хотелось войти в дверь, где висела табличка «Доктор Чехов», но эта дверь — дверь в квартиру. В музей

можно было пройти через другой подъезд, где висел плакат «Посетите наш музей», где был гардероб, кассы, где в вестибюле с пустыми стенами сидели экскурсанты и дожидались начала экскурсии.

А в комнатах по-прежнему было просто и просторно. Смотрительница в кабинете закрыла книгу, которую она читала, заложив страницу снятыми очками. Потом, нагнувшись под запретный канатик, прошла на чеховскую половину, спрятала книжку в ящик его стола и пошла наверх по крутой лестнице к своей подружке. Поразговаривать. Просто было все.

И конечно, только казалось это, но было ощущение, что и музей этот удивительно простой весь... Слово и сейчас продолжается в нем тот Чехов, который и на Сахалин ездил, и шампанского перед смертью попросил.

ФОТОГРАФИЯ

Утром проснулась, заглянула в комнату — его нет! — испуганно екнуло сердце, но, все еще спокойная, поднялась в ремингтонную — и здесь нет! — и пошла, пошла, все убыстряя шаги. Путаясь в широкой юбке, вбежала в библиотеку.

Нет! И навстречу с испуганно-большими глазами Саша, а в руке у нее письмо. Взяла листок и сразу увидела слова: «Мой отъезд огорчит тебя...»

Кто-то кричал за спиной, но не слышала. Сквозь голый облетевший сад бежала к пруду, не бросилась — просто скатилась с мостков в промерзшую зеленоватую тину.

Подоспели. Несли домой на руках. Уложили в гостиной на диване.

Когда очнулась, увидела в зеркале напротив: какая-то старуха, по толстым морщинистым щекам, не останавливаясь, ползут медленные слезы.

А день был неуверенным.

Только на минуту проглянуло солнце, сочными желтыми квадратами легло на полу, но ненадолго — на небо снова натянуло косматых туч и снова заморосил серый дождик.

Зачем-то диктовала телеграммы, умоляла, требовала, обманывала, а внизу сыновья писали письма и кто-то — медленное — играл на пианино.

Иногда с чужим — она все, все знает! — лицом проходила Саша.

Потом заснула. Снились лошади. Запрокидывая головы, бежали они к светлой озерной воде.

Неясно, сквозь сон, слышала что-то голоса, потом снова медленную музыку, а когда проснулась, приехали репортеры.

Долго говорила с ними, оправдывалась. Догадывалась, что оправдывается, и краснела. Репортеры курили и, прищурившись, рассматривали ее — им надо было туда, куда уехал он, но об этом знала только Саша. Она, закрывшись, сидела в своей комнате.

Потом замолчала на полуслове — все новые люди возникали вокруг, с любопытством рассматривали ее. В нетопленных комнатах было холодно, и Софья Андреевна зябла, кутаясь в пуховый платок.

Жизнь была долгой, была счастливой, потому что вся она — это он, да еще дети, которые тоже он... Жизнь была долгой, и осталось только тихо и счастливо умереть, но смерти не было, было вот это бегство, этот скандал, эти раскрасневшиеся от любопытства чужие лица.

Господи! Да она и сама бы уехала с ним, пряталась бы от чужих людей, пересаживалась бы с одного поезда на другой, только чтобы с ним, только чтобы умереть рядом...

На следующий день, вечером, сказали: Астапово.

Только накинула на плечи пальто и поехала.

Уже была ночь, когда бежала к дому начальника станции, а там люди, люди... и уже узнавали ее, оглядывались, толкали друг друга, что-то говорили про нее, но она не слышала, торопливо бормотала, сбиваясь, путая слова:

— Только посмотреть... Да, только посмотреть... Можно, я в окошко загляну, да? Сорок восемь лет жила...

И неслышные слезы снова текли по лицу.

И уже помогал кто-то перелезть через ограду палисадника, а она все бормотала:

— Только посмотреть, только взглянуть, как он...

И, спотыкаясь, хватаясь руками за деревья, брела к светящимся в этой неоглядной ночи окнам.

Безжалостно ярко вспыхнул навстречу магний — снова ее, покинутую, фотографировали.

Так и осталась.

Старая, крадущаяся сквозь пустые деревья к дому...

— За что ее так, а? — спросила стоявшая рядом девушка, и голос ее задрожал.

А экскурсовод уже торопила в следующий зал. День был выходной, и яснополянский музей работал, как конвейер.

РЕМИЗОВ

А время стало совсем неспокойное. Была на улицах вьюга, и в подворотнях трещали выстрелы — там добивали оставшихся городовых.

Однажды Ремизов возвращался домой, хоронясь от ветра за спиною широкоплечего господина, а навстречу в санях везли мертвяков.

Возле широкоплечего господина сани остановились.

— А ну, полезай сюда! — скомандовал возница, и, когда господинчик, понукаемый винтовкою, залез на сани, пристрелил его возница, закурил самокрутку и дальше поехал, о чем-то думая.

В господинчике-то он городского признал.

Ремизов после того случая на улицу выходить не отваживался. Даже по квартире ходил на цыпочках — не дай бог услышат с улицы. Сильно людей опасаться стал.

Сегодня, когда постучали, не сразу открыл. Долго стоял под дверями, прислушивался: не брякнет ли на лестнице оружие. Потом любопытно стало, зажмурил глаза, распахнул дверь, а там монашек стоит. Тихий, ласковый...

— Вот, — говорит конфузясь, — веточку вам принес...* — и протягивает вербовую веточку, всю в мягоньких катышках почек.

Ремизов только руками всплеснул:

— Ах ты, господи! Ведь погоды на улице... Ведь убить могло!

А монашек снова сконфузился.

— Что вы, — говорит и улыбается тихонько. — Ну, пойду... Я еще отцу дьякону зонтик сулился японский купить.

Ремизов его за рукав схватил:

— Чайку хоть попейте...

* Дальше в прямой речи использован текст «Посолоня».

Но так и ушел монашек во вьюгу, в выстрелы. Только веточка осталась в руках, поцеловал ее Ремизов, поставил в банке под иконами — в квартире весной запахло.

А сам снова в темный угол забился, принялся чертей из бумаги высекать.

Завели моду — в бумаге прятаться... И не жалко бы, да ведь балуют: так буквы перепутают, что и слова другие получаются.

Ну, да что ж... Дело нехитрое. Только поглядеть на листок, и сразу видно, как они там орудуют. Тут уж не зевай, высекай скорее из бумаги, да и иголочкой-то на ниточку, чтобы не колобродил больше-то.

Вечерами матрос приходил.

Сам из деревни был — до сказок охотник. Однажды пришел с обыском, видит: сидит под лампадками старичок, а из рукава черти выскакивают.

С тех пор и ходить стал.

Ремизов его опасался.

«Ну как, — думал, — порвет ниточки-то. Черти ведь и разбегутся тогда».

Пужал матросика.

— А во тьме белья темновали на лугу девки-пустоволоски да бабы-самокрутки, поливали одолень-траву. Вылезали на берег водяники, поснимали с себя тину, сели на колоды и поплыли.

В квартире сумрачно было. От печки угаром тянуло. Черти косматые, страшные.

Обмирало у матросика сердце.

Рукой за грудь хватался. Засовывал лапищу за отвороты бушлата, за крестик ухватывался.

«Ох, — пугался Ремизов, — вытащит бомбищу да и бросится!»

Сказки, однако, не прерывал:

— У Аленина двора, со двора в ночевку бежит кот; ударил его Пахом посередине живота, сел на него, подкатил к окну, как месяц, надел на Алену хомут глазом своим, шептал в ее след: «Чтоб у нее, у миленькой, и спинушка, и брюшенько красным опухом окинулось и с зудом». Притрепался ведьмак, поманил зарю, иссяк, как дым: волю снимать, неволю накладывать. Не дождалась Джурка отца, поужинала. Поужинала, обернулась в галочку, полетела за речку росицу пить.

Выла в трубах метель.

Выстрелы хлопали.

Матросику от них легче делалось.

Успокоился. Руку из-за пазухи вынул. Осмелел окаянный.

Ремизова в сон клонило.

Сидел, приговаривал:

— Блоховат кот, строковат Котонай, пел песенки...

А матрос не пужается. Сидит и глядит пристально. Стал его стращать Ремизов, ровно дите малое, козюю рогатой.

Бегал за ним по квартире, прикидывался, вопил:

— Силушку отдай, отдай силушку!

Матросик со страху в передней свалился, забился под вешалку, выглядывает оттуда одним глазом.

Пожалел его Ремизов.

— Выходи, — говорит, — заждались уж товарищичи-то...

— Не выйду, — отвечает матросик, — ты свечек с меня наделаешь. Русалок манить станешь.

Засмеялся Ремизов.

— Глупый, ой, глупый... Для свечек-то детское

сало надо... А ты... Ты ж какое дите? Сколько уже душ загубил... Выходи давай, ничего не сделаю.

— Омманешь! — отвечает матросик. — Выманишь и на свечки сведешь.

Стал ему Ремизов другую сказку рассказывать. Про кикимору.

— Сидит кикимора на воротах. Уселась затейливо и чистит бережно свое копытце. Мимо странник идет, а она хохочет ему вслед: «Я бабушке за ужином плюнула во щи, а деду в бороду пчелу запустила, из леса аукнула под поцелуи...» — «А пошла ты...» — сплюнул странник. Кикимора ему вслед захохотала: «Такая я... Обманы, причуды сеять и до умору хохотать».

Насилу-таки выжил матросика.

А в квартире холодно.

Посмотрел на веточку, обернулся дикой кошкой — желтой иволгой, полетел за город, за шумучий бор, там-то — верно монашек сказывал — весна уже.

Разорил гнездо соловью, сел ночевать под черной смородиной.

Утром, только вернуться успел, снова стучат в двери. Опять матросик пришел...

Ну, теперь точно с бомбою — торчит из-за пазухи.

Оказывается, картошек матросик принес.

Сидели рядом, пекли в буржуйке.

Потом чертей из бумаги высекать учил — мало ли что матросу пригодиться может.